

В. В. Виноградов

Язык Пушкина

**Пушкин и история русского
литературного языка**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 81
ББК 81
В11

В11 **В. В. Виноградов**
Язык Пушкина: Пушкин и история русского литературного языка / В. В. Виноградов – М.: Книга по Требованию, 2024. – 484 с.

ISBN 978-5-458-55342-1

ISBN 978-5-458-55342-1

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2024

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2024

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

ЯЗЫК ПУШКИНА

Пушкин и проблема национального языка

§ 1. Изучение Пушкинского языка — задача, без решения которой нельзя понять историю языка русской литературы XIX века и историю языка повествовательных жанров общей письменной и разговорной речи в первой половине XIX века.

Существуют в пределах национального языка три разных социально-языковых системы, претендующих на общее, надклассовое господство, хотя они находятся между собою в тесном соотношении и взаимодействии, внедряясь одна в другую: разговорный язык господствующего класса и интеллигенции с его социально-групповыми и стилистическими расслоениями, национальный письменный язык с его жанрами и стилистическими контекстами и язык литературы с его художественными делениями. Соотношение этих систем исторически меняется. Язык литературы бывает письменным, но может быть только писанным, так как его связи с разговорно-бытовой речью обусловлены культурно-исторически и социологически.

С конца XVIII века язык русской литературы получил основное организующее значение по отношению к «общему» письменному языку, в его внеканцелярских функциях, и по отношению к разговорному языку так называемых «хороших обществ», т. е. прежде всего дворянской среды, а затем и культурно записавших от нее кругов буржуазии.

Но эта руководящая роль языка художественной литературы оказалась двойственной. Устанавливая нормы «общего» языка господствующих классов, язык литературы в то же время, естественно, суживал и свои грани и границы официально-бытового употребления. Нормализация осуществлялась посредством запрета и строгого ограничения в литературном обиходе слов профессиональной, «простонародной» и вообще диалектической социально чуждой (с точки зрения салонного, светско-дворянского языка) окраски. Язык дворянского салона и язык светской дамы, как «души» этого салона, признавался одновременно и главным источником и основной сферой ориентации для языка литературы. Устная словесность и бытовая письменность, которые

для некоторых социальных групп целиком вмещали в себя и формы художественного творчества, но в оценке культурных верхов интеллигенции противопоставлялись «изящной словесности», «литературе», — все же далеко превосходили литературу и по своему объему и по своему социальному значению. И даже потом в первой половине XIX века князь Вяземский писал: «В Москве много ходячего остроумия этого ума, qui court la rue, как говорят французы. В Москве и вообще в России этот ум не только бегаёт по улицам, но вхож и в салоны; зато как-то редко заглядывает он в книги. У нас более устного ума, нежели печатного» («Старая записная книжка»; 164). Как любопытный экземпляр бытового борзописца, тот же писатель рисует А. И. Тургенева: «Полагаем, что не было никогда и нигде борзописца ему подобного. Он мог сказать с поэтом: «Как много я в свой век бумаги исписал». Но ни друзья его, ни потомство, если оно захватит его, не ставили и не ставят того ему в упрек. Деятельность письменной переписки его изумительна. И письма его — большей частью образцы слога живой речи... Русским языком в особенности владел он, как немногим из присяжных писателей удаётся им владеть...» (Иб., 183). Кн. П. А. Вяземский, мечтая, как и другие его современники, о транспозиции в литературу речевых форм этой бытовой лаборатории языка, замыслил написать «Россиаду домашнюю, обиходную, сборник, энциклопедический словарь всех возможных руссизмов, не только словесных, но и умственных и нравных, т. е. относящихся к нравам; одним словом, собрать, по возможности, все, что удобно производит исключительно — русская почва, как была она подготовлена и разработана временем, историей, событиями, поверьями и нравами исключительно — русскими. В этот сборник вошли бы поговорки, пословицы, туземные черты, анекдоты, изречения, опять-таки исключительно русские, не поддельные, не заимствованные. Тут так бы Русью и пахло, хотя до угара и до ошпа, хоть до выноса всех святых! Много нашлось бы материалов для подобной кормчей книги, для подобного зеркала, в котором отразился бы русский склад, русская жизнь до хрища, до подноготной. А у нас нет пока порядочного словаря и русских анекдотов» (Иб., 199).

Проблема раздвижения границ литературы и осознания ее содержания на почве национальной культуры стала основной для разных общественных групп (дворянства и буржуазии) в первой трети XIX века.¹ Д. В. Веневитинов (в заметке «Не-

¹ На этой почве возникает противопоставление *литературы* и *словесности*. «Под собственно так называемой *литературой* разумеют обыкновенно *письменность* народа и *письменность* человека. Этой *письменности*, кажется, должно бы противопоставить то, что мы называем *словесностью*; то и другое до сих пор смешивают... Собственная *письменность* или *литература* была бы не что иное как наружная оболочка или тень *словесности*» («Радуга», Журнал философии, педагогики и изящной словесности, 1832, I, 36—37).

сколько мыслей в план журнала») писал: «...как будто предназначенные противоречить истории словесности, мы получили форму литературы прежде самой ее существенности». И. К. в обзоре «Альманахов на 1827 год» («Моск. вестник», II, 1827) заявлял: «Что же нужно для того, чтобы возрасло древо поэзии русской? Нужно *свое* семя, *своя* почва, удобренная богатыми знаниями, деятельной и доблестной жизнью — историей; нужны, наконец, благотворные лучи всеоживляющего солнца — гения... Разрыть темную сокровищницу языка и истории — путь для гения» (69—70).

Пушкин, как и другие его современники, принял участие в решении вопроса о языке русской литературы и вместе с тем о литературном языке русской нации. Построение новой системы общелитературной речи посредством отбора и объединения разных социально-языковых контекстов и групповых диалектов, бытовавших не только в кругу дворянства, но и в среде городской буржуазии и крестьянства, было одним из лозунгов, провозглашенных и реализуемых Пушкиным со второй половины 20-х годов. Но, открывая шлюзы литературы для простонародного языка, для просторечия и устной словесности, Пушкин корректировал их формы языковыми навыками дворянского быта, стилистическими оценками культурного и воспитанного человека из «хорошего общества». «Немного парадоксирую, Пушкин говаривал, что русскому языку следует учиться у просвирен и лабазников; но, кажется, сам он мало прислушивался к ним и в речи своей редко простонародничал», пишет Вяземский и утверждает, что, в отличие от житейской народности Долгорукова, Державина и Крылова, «в Пушкине более обозначалась народность историческая» («Старая записная книжка», 279). Замечательно в этом отзыве не только ограничение «простонародничанья» Пушкина, но и определение общего духа Пушкинской народности как «исторической».¹ Пушкин сам откровенно указывал, что проблема «простонародности» языка для него не решалась этнографическими и диалектологическими изысканиями и наблюдениями, а была тесно связана с формами и нормами речевого быта «хорошего общества» и — шире — с пониманием путей исторического самоопределения русской нации.

Итак, вопрос о Пушкинской оценке национально-бытовых основ русского литературного языка должен служить введением в понимание и изучение самого Пушкинского языка.

§ 2. Легко перенести в далекую эпоху те категории и понятия, которые определяют систему современного литературного

¹ Ср. заявление Н. В. Киреевского: «История в наше время есть центр всех познаний, наука наук, единственное условие всякого развития: направление историческое обнимает все». Статья «Обозрение русской словесности 1829 года» в «Деннице» 1830, стр. XXII—XXIII.

языка или строй современной литературы. Легко, но методологически неправильно. Гораздо труднее установить живые, действенные категории социально-языковой эволюции и революции, присущие самой воспроизводимой эпохе, имманентные ей. При изучении языка Пушкина необходимо погрузиться в смысловую атмосферу того времени, понять стилистические контексты русского языка пушкинской поры. Одним из главных средств этого имманентно-исторического осмысления является знакомство с социально-языковыми категориями и понятиями, в свете которых сам Пушкин наблюдал, оценивал, отрицал и утверждал речевые формы современной ему литературы и быта. И тут исследователь должен исходить из исторического понимания языковой политики Пушкина, из отношения Пушкина к русскому языку как к одному из «первобытных» языков, который, усваивая систему европейского мышления, претендовал на сохранение своих национальных основ, своих самобытных традиций.

Соглашаясь с мнением, что «новая история есть история христианства», Пушкин однако не отвергает, в противовес Полевому, возможности национального и общечеловеческого развития «вне европейской системы» и для русской истории готов допустить «другую мысль, другую формулу, чем для европейского просвещения» (Соч. Пушкина, изд. Акад. наук, IX, 77, 78). В соответствии с такой исторической концепцией Пушкин — защитник национально-языкового самоопределения. «Как материал словесности, язык славяно-русский имеет неоспоримое превосходство пред всеми европейскими» (IX, 17). «Все должно творить в этой России и в этом русском языке» (IX, 398). «Язык, как зрение, не может быть ограничен иначе, как самою природою» (IX, 403). «Каждый язык имеет свои обороты, свои условленные риторические фигуры, свои усвоенные выражения, которые не могут быть переведены на другой язык соответствующими словами» (IX, 390).

Но Пушкинский национализм был историчен. Он опирался на опыт прошлого и живые потребности современности. Поэтому он не был, как у А. С. Шишкова, связан с мифологическим преклонением пред «славено-русским» языком, который объявлялся первоосновой всех языков, и с подчинением развития русского литературного языка принципам универсальной грамматики, обращенной к идеальному образу «первобытного» (в конечном счете того же «славянского») языка. «Грамматика не предписывает законов языку, но изъясняет и утверждает его обычаи», замечал Пушкин (IX, 401).

Грамматика представлялась Пушкину теми оковами живого национально-языкового сознания, которые регулируют и ограничивают свободное движение поэта в сфере языка, но которые писатель не имеет права совсем с себя сбросить. «Писатель должен владеть своим предметом, несмотря на затруднительность

правил, как он обязан владеть языком, несмотря на грамматические оковы». (Переписка, изд. Академии наук, II, 17). Но в то же время Пушкин готов предоставить писателю широкую свободу грамматических отступлений, лишь бы борьба с грамматикой не была враждебна «духу» национального языка. М. П. Погодину Пушкин писал о трагедии «Марфа Посадница»: «... одна беда — слог и язык. Вы неправильны до бесконечности — и с языком поступаете, как Иоанн с новым городом. Ошибок грамматических, противных духу его — усечений, сокращений — тьма. Но знаете ли? И эта беда не беда. Языку нашему надобно воли дать более, разумеется, сообразно с духом его. — И мне ваша свобода более по сердцу, чем чопорная наша правильность» (Ив., 195).

Итак, Пушкин стоит за свободу национально-языкового развития в пределах «духа» русского языка, его грамматических законов, его обычаев. В этом он ближе к Карамзину, который представлял «чувствительного грамматика» произносить такие речи: «*Употребление* есть избалованное дитя народов, с которым нельзя обходиться сурово; надобно во многом щадить его... Грамматик должен быть добродушным и жалостливым, особливо к стихотворцам. Ах! они и так нередко стенают от упрямости длинных слов в языке русском: на что их обременять лишними слогами?.. Грамматик чувствительный, и даже справедливый, с обыкновенной искренностью скажет им: ... Пишите как вам угодно — как вам угодно, друзья мои!» («Великий муж русской грамматики»). Тех же взглядов Карамзин держался и в вопросах словаря, в вопросах лексики: «Слова не изобретаются академиями: они рождаются вместе с мыслями или в употреблении языка или в произведениях таланта, как счастливое вдохновение. Сии новые, мыслию одушевленные слова входят в язык самовластно, украшают, обогащают его без всякого ученого законодательства с нашей стороны: мы не даем, а принимаем их. Самые правила языка не изобретаются, а в нем уже существуют: надобно только открыть или показать оные» (Речь, произнесенная в торжественном собрании Российской Академии 5 декабря 1818 г.).

Напротив, те круги дворянства, которые стояли за грамматическую и семантическую рационализацию русского языка на национально-церковных основах, протестовали против авторитета литературно-бытового употребления и против норм общественного вкуса. Они защищали метафизический «разум» языка и идейно-мифологический приоритет церковно-книжной письменности. А. С. Шишков писал: «Худое употребление слова, как бы оно ни сделалось общеупотребительным, не может быть принято теми любителями словесности, которые читают с рассуждением и вникают в силу каждого слова» (Собр. соч. и перев., IV, 321). «Что такое употребление? Оно может быть общее и частное: общее объемлет весь язык и все времена; частное относится

к некоторому времени и наречию. Сие последнее есть вещь, во-первых, непостоянная, во-вторых, неопределенная..." (Ib., 88).

"... Неужели и то считать употреблением, когда какой-нибудь приехавший из чужих краев щеголь, худо знавший и там еще позабывший язык свой, не умея говорить им, вмешает в него несколько иностранных слов, а другой подобный ему писатель, услыша то, повторит их в сочинении своем?..." (Ib., V, 12). Это рационалистическое презрение Шишкова к бытовым «противумыслиям» и противоречиям слов чуждо Пушкину. Поэт не разделял мнения Шишкова, что «отвычка или привычка, яко худые ценители слов, не должны быть законом разуму» (Ib., V, 95).

Пушкин, подобно Карамзину, склонен исходить в реформах литературной речи из употребления, отвергаемого Шишковым, а не из идеального образа теоретически воссозданной системы. Карамзин стремился нормировать современное употребление языка в кругу дворянства и буржуазии, подчинив его требованиям и вкусам светского дворянского салона, т. е. очень стеснив литературный язык классовой идеологией и характерологией. Пушкин, отбыв срок карамзинского плена, кончавшегося к концу десятих годов, пытался понять и оценить формы «национального» употребления языка во всей доступной ему широте и пестроте их социально-стилистических расслоений. Критерии оценки и различения поэт искал в истории русского литературного языка и в вытекающем из нее более демократическом понимании речевых основ русской «народности». Пушкин «народнее», шире Карамзина понимает и принимает литературно-классовые границы национально-языкового употребления.

§ 3. Идеей, воодушевлявшей Пушкина в его стилистических реформах, была идея смыслового единства языковых структур. Всякий факт и всякое понятие должны мыслиться и изображаться в своем историческом контексте и в системе того языкового целого, в котором они живут. С этим критерием Пушкин подходил к определению «народности» как языковой и стилистической категории. Он решительно отвергает самую возможность истолкования понятия народности во внешнем, лексикологическом, предметно-бытовом или тематическом плане. «Один из наших критиков, кажется, полагает, что народность состоит в выборе предметов из отечественной истории, другие видят народность в словах, т. е. радуются тем, что, изъясняясь по-русски, употребляют русские выражения» (IX, 26). Пушкин выдвигает идею национально-смыслового контекста. «Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев и поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу...» Они и образуют единство той смысловой структуры национального языка, в которую вмещена, между прочим, и литература и которая вполне понятна и близка лишь «соотечественникам».

«Народность в писателе есть достоинство, которое вполне может быть оценено одними соотечественниками — для других оно или не существует или даже может показаться пороком» (IX, 26). Эта национально-смысловая структура языка и мысли, по Пушкину, должна сказаться у писателя независимо от тем, сюжетов, сферы изображения. «...Vega и Калдерон поминутно переносят во все части света, заедают предметы своих трагедий из итальянских повестей, из французских etc.. Мудрено однакож у всех сих писателей оспаривать достоинства великой народности» (IX, 26; ср. IX, 126).

Опору для этого понимания народности и ответ на вопросы о нормах и составе русского литературного языка как «общего» языка нации Пушкин надеялся найти в истории русского языка.

II

Основные этапы истории русского литературного языка — в концепции Пушкина

§ 1. Понимание форм и категорий русского литературного языка начала XIX века у Пушкина обосновано исторически. Пушкин не раз в своих критических статьях касается исторических судеб русского языка. Схема Пушкина неоригинальна. Она воспроизводит основные этапы истории русского языка, не подчеркивая мест, считавшихся опасными и спорными даже в 20-х годах XIX века (ср. схему Н. Греча, предложенную в «Опыте краткой истории русской литературы», Спб. 1822). Однако отсутствие резких индивидуальных примет не лишает Пушкинскую схему значения для исследователя, который стремится проникнуть в живые для Пушкина формы языкового мышления русского интеллигента-дворянина. Противоречивую сложность и синтетическую обособленность литературно-языковой позиции Пушкина помогают уяснить не своеобразие его исторической концепции, а его колебания в некоторых вопросах и его оценочные суждения о некоторых явлениях истории русского языка.

Пушкин полагает вслед за Ломоносовым, А. С. Шишковым, М. Т. Каченовским, Г. П. Успенским, Г. А. Глинкой, Востоковым, Гречем, П. А. Катениным и др., что русский книжный (церковнославянский) язык испытал полное обновление в XI веке, будучи «усыновлен» церковногреческим языком и таким образом «избавлен от медленных усовершенствований времени». «В XI веке древний греческий язык вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии, даровал ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты, величественное течение речи... Сам по себе уже звучный и выразительный, отселе заимлет он гибкость и правильность» («О предисловии г-на Лемонте», IX, 17).¹ В непосредственности и широте влияния

¹ Ср. у А. С. Шишкова в «Рассуждении о старом и новом слоге российского языка»: «Древний славенский язык... есть корень и начало Российского языка, который сам собою всегда изобилен был и богат, но еще более продвел и обогатился красотами, заимствованными от сродного ему эллинского языка». Ср. также близкие суждения Евгения Болхови-